**«Так полюбил я древние дороги…»: дорожные мотивы в лирике Н.Рубцова**

В воспоминаниях о Н.Рубцове нередко в разных вариациях звучали раздумья о внутреннем «странничестве», которое было присуще его творческой натуре: «Рубцов любил внезапность знакомств и расставания. Он возникал в местах, где его не ждали, и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость скитальческой души и носила его, вела по Руси»[[1]](#footnote-1). Скитальческие переживания художественно выразились в сквозных для его лирики образах путевого пространства, семантически многоплановых дорожных мотивах, создающих особый ракурс поэтического мировидения.

В ранних поэтических опытах 1950-х гг. («Два пути», «Да, умру я!», «Уж сколько лет слоняюсь по планете!..» и др.) дорожные мотивы ассоциируются с неоромантическими устремлениями лирического «я», вызывают противопоставление тракта, истоптанного «на телегах, в седлах и пешком», – и узкой лесной тропы, манящей к себе героя, уводящей «в сторону далеко» и приближающей к чудесному измерению бытия: «Хоть на ней бывает одиноко, // Но порой влечет меня туда»[[2]](#footnote-2). Собственная стезя на «заплеванном шаре земном» подчас увидена в трагическом свете, в виде нещадно затаптываемого пути («Жалкий след мой // будет затоптан // башмаками других бродяг»), и в то же время для лирического героя-скитальца прорисованные в зримых поэтических образах земные дороги размыкаются в таинственную, «мерцающую» перспективу («… может быть, навеки // Людный тракт окутается мглой»), знаменуют встречу со стихийными силами души и природы, с «бездомным ветром», «шляющимся над землей»:

И путь укрыт от взора моего,

Иду, бреду туманами седыми;

Не знаю сам, куда и для чего?

<…>

… Бродить и петь про тонкую рябину,

Чтоб голос мой услышала она:

Ты не одна томишься на чужбине

И одинокой быть обречена!..

В «дорожных» отражениях проступают у Рубцова *автобиографические, исповедальные мотивы*. В отрывистых, ритмически надрывных строках стихотворения «Детство» (1967) пунктирно выведенная лирическая автобиография предстает в интерьере «пограничных» пространств, обрамлена многими нежеланными отъездами, переездами, паромными переправами. Оскудение осиротевшего домашнего мира («Взялись в жилье // И сумерки, и сырость…»), подмененного «детдомом на берегу», образно ассоциируется с общенародной бедой, «военной морокой» и перерастает в трагедийную картину преисполненного разлуками существования:

Еще прошло

Немного быстрых лет,

И стало грустно вновь:

Мы уезжали!

Тогда нас всей

Деревней провожали,

Туман покрыл

Разлуки нашей след…

«Дорожное» мирочувствие входит у Рубцова и в контекст *интимной лирики*. В стихотворении «Листвой пропащей…» песенно звучащий лейтмотив («Листвой пропащей, // знобящей мглою // Заносит буря неясный путь») ассоциируется с драмой самозабвенного бегства от томительной душевной неустроенности, с долгожданным обретением дорогого воспоминания и, как следствие, озарением, казалось, безвозвратно погрузившегося во мрак пути: «И вдруг я вспомню твое лицо, // Игру заката во мгле вечерней, // В лучах заката твое кольцо». А в «Прощальной песне» (1966) лирический сюжет неминуемого для героя ухода из обжитого деревенского пространства, его «измена» семейным привязанностям раскрываются в пронзительном обращении к близкой душе, в парадоксальном сочетании *предчувствия* будущего расставания и *воспоминаний* о разрыве, уже совершившемся. Ночные тропы, пароходы, «знобящие причалы» оборачиваются для лирического «я» не только странствиями во внешнем мире, но и блужданиями в лабиринтах собственной души:

Ты не знаешь, как ночью по тропам

За спиною, куда ни пойду,

Чей-то злой, настигающий топот

Все мне слышится, словно в бреду.

Сквозной в поэтическом мире Рубцова *сюжет скитаний*, основанный на исповедальном самораскрытии героя, достигает сверхличностного масштаба, вступает во взаимодействие с фольклорными мотивами и порождает *оригинальные формы «ролевой» лирики*. Стихотворения «Подорожники», «Дорожная элегия», образный мир которых щедро расцвечен фольклорным колоритом («Пролегла дороженька до Устюга // Через город Тотьму и леса…»), примечательны *множественностью субъектов лирического переживания*. Это и одушевляемые подорожники – молчаливые и вдумчивые свидетели человеческих драм, и «бродяги и острожники», доверившие дорогам свои плач и смех, и, наконец, сам лирический герой, для которого «дорожная мука», родные северные ландшафты служат как вместилищем душевной боли, «острожного» одиночества, так и целительным приобщением к метафизическому измерению, коллективному переживанию, укорененному в недрах прапамяти: «Разве что от кустика до кустика // По следам давно усопших душ // Я пойду, чтоб думами до Устюга // Погружаться в сказочную глушь».

Эволюция «дорожной» темы связана у Рубцова с ее *эпическим расширением*, открытием горизонта бытийных обобщений. В стихотворении «Идет процессия» в центр бытовой зарисовки деревенских похорон выступает образ скорбной «дороги в полверсты», являющей единство микро- и макрокосма и таинственно вмещающей многоразличные «ласки мира» и «бури века». Коллизии «дорожного» сюжета стихотворения «Неизвестный» высвечивают драму бесприютной судьбы героя, что «шел против снега во мраке», был ославлен людской молвой («Бродяга. Наверное, вор…»), и приобретают экзистенциальный смысл: «Он шел. Но угрюмо и грозно // Белели снега впереди! // Он вышел на берег морозной, // Безжизненной, страшной реки!»

Дорожные мотивы пронизывают *пейзажную образность* лирики Рубцова, подчас придавая ей «драматургическую» динамику. В стихотворении «По дороге из дома» одушевленная стихия ветра («О ветер, ветер! Как стонет в уши! // Как выражает живую душу!») вступает в диалогическое соприкосновение с лирическим «я», выражает его дерзновенный «дорожный» дух, прорыв за грань привычного домашнего мира: «Безжизнен, скучен и ровен путь. // Но стонет ветер! Не отдохнуть…» В дорожных пейзажных зарисовках достигается пересечение звездных, природно-космических – и земных, рукотворных путей («В тусклом свете блестя, гололедица // Предо мной обозначила путь…», «Гололедица», 1969). Эмпирическая картина житейских перепутий, исповедь утомленной души, которая «давно… блуждать устала», преломляются в сфере творческого воображения лирического «я», в «дорожном» ракурсе его мировидения («И путь без солнца, путь без веры // Гонимых снегом журавлей…»), сопрягающем явленное и сокровенное, время и вечность, родное и вселенское[[3]](#footnote-3): «Как будто вечен час прощальный, // Как будто время ни при чем…» («В минуты музыки», 1966).

Страннические переживания лирического «я» и иных героев оказывают у Рубцова решающее воздействие на эмоциональный фон, интонационные рисунки его поэзии. Стихотворение «Поезд» (1969) построено на развернутой метафоре безудержно – «с грохотом и воем… с лязганьем и свистом», «с полным напряженьем // Мощных сил, уму непостижимых» – мчащихся человеческой жизни и истории. В мифопоэтической образности произведения стихия дороги приобретает сказочные черты, высветляя в лирическом «я» непознанные им самим глубины («На разъезде где-то, у сарая, // Подхватил меня, понес меня, как леший!.. // Я, как есть, загадка мирозданья»), приводя к отчаянному прозрению зыбкой грани между стремительно меняющейся жизнью и небытием, что лишь в малой степени смягчается робкой надеждой, сквозящей в безответном финальном вопрошании:

Перед самым, может быть, крушеньем

Я кричу кому-то: «До свиданья!..»

Но довольно! Быстрое движенье

Все смелее в мире год от году,

И какое может быть крушенье,

Если столько в поезде народу?

Восприятие мироздания в пространстве бесконечных «древних дорог», проложенных и в «пыли веков», и в тайных недрах человеческой души, обуславливает расширение масштаба лирического переживания. В стихотворении «Старая дорога» (1966) «голубые вечности глаза», облака-«пилигримы», плывущие, «как мысли», приоткрывают тайны небесного мира и в то же время вступают в соприкосновение с душой, чуткой к *путевому измерению бытия и истории*:

Душа, как лист, звенит, перекликаясь

Со всей звенящей солнечной листвой,

Перекликаясь с теми, кто прошел,

Перекликаясь с теми, кто проходит…

Дорожные мотивы, неотделимые в поэзии Рубцова от исповедального самовыражения, настраивают и на постижение *многовековых путей истории и культуры*. В стихотворении «Шумит Катунь» (1967) лирическое чувство сливается в гармоничную мелодию с немолчным «напевом былинным» древней сибирской реки («Как я подолгу слушал этот шум…»), вследствие чего «долгота» индивидуального эстетического переживания оказывается равновеликой «темному зеву» столетий, непрерывному течению земной истории навстречу вечности:

Катунь, Катунь – свирепая река!

Поет она таинственные мифы

О том, как шли воинственные скифы, –

Они топтали эти берега!

И Чингисхана сумрачная тень

Над целым миром солнце затмевала,

И черный дым летел за перевалы

К стоянкам светлых русских деревень…

Атмосферой скитальчества, которой проникнут поэтический мир Рубцова, насыщены *интуиции о перепутьях родной культуры* – как в стихотворении «Я люблю судьбу свою…» (1970), где трагедийный путь лирического «я» («Над мною смерть нависнет, – // Голова, как спелый плод, // Отлетит от веток жизни»), судьбы поэтов прошлого увидены в пространстве онтологической бесприютности:

Вон Есенин –

на ветру!

Блок стоит чуть-чуть в тумане.

Словно лишний на пиру

Скромно Хлебников шаманит.

*Поэтическое вживание в далекие исторические эпохи* сопряжено у Рубцова с ролевыми перевоплощениями лирического героя. В притчевом стихотворении «Русский огонек» (1965) он выступает в образе одинокого странника, затерянного «в бескрайнем мертвом поле», но обретающего утраченный путь в общении с хозяйкой избы, а через нее – со многими незнакомыми прежде, но близкими душами, чьи судьбы запечатлелись в «сиротском смысле семейных фотографий». Косвенная ретроспекция жизни рассказчицы воскрешает личную и историческую память, становится противовесом блужданию личности и целых поколений «в поле бездорожном». Тайновидцем, всадником, скачущим «по холмам задремавшей отчизны… по следам миновавших времен», предстает лирическое «я» в стихотворении «Я буду скакать…» (1963), где категория пути выходит на онтологический уровень, ассоциируется с путешествием в пространстве и времени, на грани яви и сновидческой реальности, предпринимаемым ради того, чтобы в тайновидении ощутить себя на перекрестке многих родственных судеб:

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье

И тайные сны неподвижных больших деревень.

Никто меж полей не услышит глухое скаканье,

Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник

Расскажет в бреду удивленной старухе своей,

Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,

Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей…

Итак, дорожные мотивы составляют один из смысловых центров поэтического мира Рубцова. Развиваясь на почве традиционной неоромантической образности, эти мотивы наполняются автобиографическими ассоциациями, обнаруживают свою значимость в интимно-исповедальной, пейзажной, «ролевой» лирике, дорастают до уровня эпических обобщений и представляют художественную картину мира в меняющихся ракурсах, в призме беспокойно-страннического лирического чувства.

1. Романов А. Искры памяти // Рубцов Н.М. Стихотворения, письма, воспоминания современников. М, Изд-во Эксмо, 2002. С.304. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее тексты Н.Рубцова приведены по изданию: Рубцов Н.М. Стихотворения, письма, воспоминания современников. М, Изд-во Эксмо, 2002. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ничипоров И.Б. «Русский огонек». Родное и вселенское в поэтическом мире Н.Рубцова // Духовные начала русской словесности. Материалы VI Междунар. науч. конф. «Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения»). Великий Новгород, НовГУ, 2006. Вып.2. С.180 – 186 (Электронный доступ: <http://portal-slovo.ru/philology/37233.php>). [↑](#footnote-ref-3)